

Б

Б как Банда.

Б как Бандова обитель, легендарная вилла на Юнс вансвейен, 46, она горделиво возвышается на самой границе исторического центра города. Даже спустя десятки лет после войны люди переходили на другую сторону улицы, лишь бы не идти вдоль дома с жуткой славой, как будто творившееся в нём зло сконденсировалось в воздухе и им можно ненароком надыхаться и заразиться. Здесь, в этих стенах, Хенри Оливер Риннан и его банда вынашивали свои планы, пытали на допросах арестованных, убивали, пили и гуляли.

Журналист, попавший в Бандову обитель сразу после капитуляции фашистов, так описал свои впечатления:

В доме царил полный разор, риннанавцами владела, видимо, какая-то дикая страсть к разрушению. Все комнаты похожи на стрельбища, стены и потолок изрешечены пулями, а там, где обои показались им слишком целыми, они искромсали их в лоскуты. Даже в ванной и на стенах, и на самой ванне следы пуль. Остаётся

предполагать, что пальба была одним из средств психологического террора узников, запертых в крошечной темноте в подвальных норах-камерах.

С виллой оказалась связана семейная полутайна, я впервые услышал о ней на кухне твоей внучки, а моей тёщи Греты Комиссар.

Была суббота или воскресенье, середина сонного разморённого выходного дня, когда дел, в сущности, никаких нет, отчего время замедляется и тянется томительнее, чем обычно. В гостиной на проигрывателе крутилась пластинка с джазом, тихое звучание фортепиано смешивалось с громкой вознёй детей, балансировавших на синем спортивном надувном мяче, до меня издали долетали взрывы смеха и глухое плюханье тел об пол. Я был на кухне с Гретой, она готовила обед — нарезала продолговатыми дольками грушу и укладывала её в жаропрочную форму к куриным бёдрышкам и овощам. Видимо, беседа касалась её детства, потому что, когда в кухню заглянул её муж, он с ходу спросил, в курсе ли я, что детство Греты прошло в штаб-квартире Риннана. Грета, с куриной ножкой в руке, улыбнулась неуверенно, смутившись, вероятно, что Стейнар выбрал неподходящее время для этого сообщения. Хотя фамилия Риннан звучала знакомо, я не смог сразу вспомнить, кто он такой. Стейнар пришёл мне на помощь и для начала назвал его имя — Хенри, а потом сказал, что он был тайным агентом нацистов, и стал живописать, какие именно ужасы творились в той штаб-квартире. пытки. Убийства. Грета подняла руку в курином жире и предплечьем убрала волосы со лба; в другой руке она по-прежнему держала ножик.

Атмосфера была какой-то странно напряжённой, словно Грета предпочла бы не начинать разговор о том доме. Но любая её попытка заглушить уже зазвучавшую тему и перевести разговор на другое слишком бы бросилась в глаза. В гостиной что-то упало с характерным шумом, затем Рикка спросила ребят, не лучше ли им переместиться для игр на нижний этаж, и тут же возникла в дверях и мимо Стейнара проскользнула на кухню.

— Ты там жила? — спросил я с удивлением, потому что Грету я знал уже пятнадцать лет, но она никогда ничего подобного не рассказывала.

— Да, я жила там с рождения до семи лет, — ответила Грета.

— Вы о чём? — спросила Рикка, видя, что упустила часть беседы.

— Рассказываю Симону, что в детстве я жила в доме банды Риннана, — буднично сообщила Грета и как ни в чём не бывало методично разрезала половинку последней груши на две дольки. По лицу Рикки я понял, что и для неё сказанное тоже новость.

— Мы и представления показывали *в подвале*, — продолжила Грета с нажимом на слово «подвал», надавливая тыльной стороной руки на помпу бутылки с мылом.

— Там же, где Риннан в войну хозяйничал.

Грета и её старшая сестра вместе с соседскими детьми ставили в подвале спектакли. Они наряжались в родительскую одежду: сапоги на каблуках, шляпы, бусы — и пели. В качестве публики приглашались соседи — и дети, и взрослые; Грета стояла наверху лестницы и раздавала зрителям самодельные билеты, а взрослые, спускаясь в подвал, пригибали голову и с любопытством оглядывались по сторонам.

Картинки детского спектакля в пыточном подвале и маленькой девочки наверху лестницы вызывали вопросы. Как еврейской семье пришлось в голову поселиться в доме, который во всём Тронхейме считался воплощением зла? Он стоил очень дёшево? Или им хотелось символического реванша? И как дом повлиял на поселившихся в нём?

Я загорелся желанием узнать больше, принялся читать всё, что смог найти, о банде Риннана и наткнулся на фотографии виллы, где выросла моя тёща. В то воскресенье Грету как будто отпустило, и она стала потихоньку рассказывать о своём детстве в Бандовой обители.

Когда Грета и Стейнар продали квартиру в Тронхейме, которую они по-прежнему сохраняли за собой, мы поехали туда с последним визитом. Спустились по улице, где когда-то располагался магазин «Париж-Вена», снова постояли у камня преткновения с твоим именем. А потом сели в машину и отправились на ту маленькую улицу недалеко от центра, Юнсвансвейен, где в доме 46 жила в детстве Грета.

Вилла оказалась симпатичным невысоким белёным домом с зелёными оконными рамами. Перед ним стояла красная раритетная машина пятидесятых годов, как будто время тут замерло.

— Позвоним? — спросила Грета. Я кивнул и, поскольку никто не пошевелился, дошёл по гравийной дорожке до двери и нажал на звонок. А потом долго стоял и ждал, пытаясь до конца сформулировать, что именно я скажу, если мне откроют.

Б как Безумные забавы риннановцев.

На полочке над моим письменным столом хранится рыжая свинцовая пуля, выковырянная из кирпичной

стены в подвале Бандовой обители. Она сплющена на манер примятого поварского колпака, вероятно, от удара о стену во время тех самых безумных игр, которыми риннановцы любили себя поразвлечь: привяжут узника к стулу и палят по очереди, соревнуясь, чья пуля пройдёт ближе всего от него, не задев.

Б как Буруз, щекастый круглолицый младенец, и его голые младенческие ножки, вот он дрыгает ими, лёжа на пеленальном столике. А вот уже ковыляет по гостиной и взмахивает руками, чтобы не шлёпнуться, и радостно взвизгивает при встрече с другим малышом своего возраста.

Б как Ботаника и как Безмятежная жизнь домашнего детского садика, располагавшегося в том же подвале на Юнвансвейен, 46 несколько предвоенных лет. Пока хозяин дома, институтский профессор Ральф Тамбс Люке, посвящал своё свободное время любительским занятиям ботаникой, собирал растения по всему Трёнделагу, а затем на втором этаже виллы высушивал их, сортировал и помещал в гербарий, снабдив элегантно подписью, его супруга Элиза Тамбс Люке и воспитанники детского сада в подвале играли, пели и жили своей жизнью, так что сперва по дому звенели детские голоса, это уж гораздо позже по границе земельного участка раскатали рулоны колючей проволоки, на въезде поставили охрану и виллу аннексировали насиле и зло.

Б как Брат и как Башмаки, как воспоминания о детстве, этой стране происхождения каждого из нас. Мы покидаем её, не зная ещё, какой вид примут осевшие на дно души воспоминания о событиях

и переживаниях самых ранних лет: они сохраняются глубоко в нас, слёживаются там и всю дальнейшую жизнь формируют наш способ бытия и ландшафт нашей души, подобно тому как осадочные седименты формируют ландшафт морского дна.

Таким незабываемым стал для Хенри Оливера Риннана десяти лет от роду один зимний день в феврале 1927 года. Шёл снег, хлопья кружились в воздухе и налипали сугробчиками на окно школы в Левангере, у которого корпел над тетрадкой по чистописанию Хенри. Чёлка упала ему на глаза, и он как раз потянулся за ластиком, чтобы стереть ножку у буквы *g*, которой был недоволен, как вдруг заметил, что класс притих: учительница, оборвав фразу на середине, смотрит прямо на младшего брата Хенри и спрашивает, как у него дела.

— Ты очень бледный... ты здоров? — спрашивает она и выходит из-за кафедры. Хенри видит, что весь класс перемигивается, слышит первые смешки, их задавливают в себе в предвкушении скорого веселья, потому что учительница уже идёт по проходу между рядами парт. И вот-вот обнаружится то, что Хенри с братом всё утро пытались спрятать от чужих глаз: младший брат Хенри обут в *дамские* сапожки, чёрненькие, но дамские, позабытые заказчицей в башмачной мастерской их отца. Так Хенри и знал, что добром не кончится, он и маме объяснял, что нельзя отправлять сына в школу в дамской обуви, но мама сунула ему под нос зимний башмак брата с полуоторванной подметкой и голосом, исключавшим возможность возражений, заявила, что брат не может пойти в школу в драных ботинках — он промочит ноги насквозь, ещё не успев завернуть за угол. Каблук, и правда, у сапожек невысокий,

но всё равно за километр видать, что обувь женская, вдобавок она велика брату на несколько размеров, и ему пришлось всю дорогу растопыривать пальцы, чтобы не потерять сапожки, из-за чего он вышагивал странной, неестественной походкой. Утром брату удалось незаметно прошмыгнуть в школу мимо стаи мальчишек, они, по счастью, были заняты своим и не заметили его обувки. В классе одна девчонка пихнула другую, они прыснули со смеху, но тут вошла учительница, все вскочили и, как положено, хором сказали: «Доброе утро!» А когда училка их усадила, Хенри с головой ушёл в вывязывание буквочек в красивые ряды и почти забыл думать о треклятых сапожках, но училка вдруг прервала урок и теперь вот идёт к парте брата с взволнованной озабоченностью на лице. Хенри чувствует, что у него вспыхнули щёки, видит, что брат засовывает ноги поглубже под стул, надеясь скрыть сапожки, но тщетно. Учительница останавливается рядом с его партой, изумлённо раскрыв рот, и из него, как непослушные горошины, сыплются слова.

— А... что это у тебя на ногах? — спрашивает она, вызывая ухмылки всего класса. Сердце Хенри колотится быстро-быстро, щёки полыхают позором, он смотрит на брата — тот молчит, глаза бегают, но он ничего не отвечает, очевидно, не знает, что сказать. Правду ему уж точно говорить нельзя, думает Хенри, нельзя говорить вслух при всех, что их отец, башмачник, не озаботился ремонтом ботинок собственных детей, лучше наврать с три короба, типа схватил первую попавшуюся обувь, не поглядев, или обулся так шутки ради, хотел проверить, заметит ли кто-нибудь, но брат ничего такого не говорит, он вообще ни звука не произносит. Отвечай давай, думает Хенри,

молчание только раздувает позор, покрывший уже его всего, поэтому он кашляет, якобы прочищая горло, отчего внимание учительницы и класса переключается на него. Хенри чувствует на себе их взгляды. От всеобщего внимания сердце Хенри начинает колотиться ещё сильнее, он совсем не уверен, что справится, но дрейфить нельзя, нужно что-то сказать, как-то выправить ситуацию, думает он и заставляет себя посмотреть на учительницу.

— Да он просто дурачился, мерил дома обувь из мастерской, — говорит Хенри и даже вымучивает улыбку, предлагая учительнице поверить ему, но видит по её лицу, что нет, не хочет она ему верить и не улыбается, а только упорствует: присаживается на корточки рядом с его братом, кладёт руку ему на плечо и говорит:

— Ох, как же ты похудел, бедный.

А потом озабоченно спрашивает — неужели дома всё так плохо, она, возможно, даже понимает, что ситуация унизительна для Хенри и его брата, и понижает голос, чтобы остальные не подслушивали, но тем самым делает ещё хуже: теперь-то уж всем ясно, что речь о действительно постыдном поступке, и одноклассники вслушиваются изо всех сил, наострив уши, — в этом Хенри уверен; и хотя училка шепчет чуть слышно, её слова долетают до каждого в классе, поэтому все разинули рты и таращатся на братьев Риннан.

Давай, отвечай что-нибудь, мысленно призывает Хенри. Но брат молчит. Вид у него несчастный и потерянный, он сперва поднимает взгляд на учительницу, потом косится на Хенри, глаза блестят, наполняются слезами, и брату приходится моргать, но отвечать он всё равно не отвечает. Шмыгает носом,

вытирает его запястьем. В классе тишина. Полная, полнейшая тишина.

— Спасибо. Дома всё в порядке, — говорит Хенри ясно и отчётливо. — Ему немного нездоровилось, вот и всё. Продолжайте урок, пожалуйста. — И Хенри утыкается взглядом в предложение, над которым трудился, берёт ластик и стирает некрасивую завитушку у буквы g. Стряхивает крошки резины и берётся за карандаш, каждым движением показывая, что говорить тут больше не о чем и надо продолжать урок.

Чувства обострены до предела, Хенри ощущает, как отклеиваются от его спины взгляды, слышит, как скрипят стулья, когда одноклассники выпрямляются за партами, как царапают карандаши по бумаге, как учительница раскрывает рот и наконец-то продолжает урок. Одновременно он чувствует, что многих душит смех и рвётся у них из груди наружу, точно пар из-под крышки кастрюли.

В свой срок урок всё же заканчивается. Учительница подходит к брату и говорит, что он может остаться на перемене в классе, как и Хенри, так что он остаётся на месте и смотрит в окно, как однокашники воются в снегу.

Следующие уроки проходят лучше. Наконец пора идти домой. Хенри запихивает в ранец учебники и берёт брата за руку.

Им надо пройти через школьный двор. На глазах всех учеников и прочих ротозеев, собравшихся полюбоваться на обувку брата и поржать над ним. Парни постарше сбились в кучу, хохочут в голос и тычут пальцем в полусапожки.

— Гляньте-ка на неё! Фрёкен Риннан, не споткнитесь! Хорошего дня! — кричит самый взрослый парень, и дружки его тоже презрительно скалятся. Хенри

ошпаривает гневом, он накатывает, как чёрная волна, и толкает вперёд, и, не успев подумать, Хенри сжимает кулак и бьёт в лицо идиота, насмехающегося над его братом. Гад какой, не смей так говорить, прекрати смеяться над братом, думает Хенри; злость в нём кипит, костяшки больно стучаются о скулу мерзавца, тот хватается за лицо, извиваясь от боли. Его банда на секунду неуверенно замирает, но тут же накидывается на Хенри. Вдруг вокруг него образуется мешанина из злощих глаз и орущих ртов. К нему тянутся руки, пальцы вцепляются в волосы и ранец на спине, через миг он распят на земле, его держат за руки и ноги, он ощущает только своё сопение, сердцебиение, злость и снег.

— Эй, вы там! Прекратите! — кричит учитель, высунувшись в окно с трубкой в руке; мучители нехотя отпускают Хенри, позволяют ему подняться на ноги, но шепчут в ухо: «Погоди, Хенри Оливер. Так просто ты не отделаешься, даже не думай, говно на палке!»

Хенри чистит штаны, он дрожит от злости так сильно, что не может вдохнуть полной грудью, ему как будто недостаёт воздуха, но он не думает об этом, хватая брата за руку и уходит, быстро-быстро-быстро, надо поскорее убраться прочь, подальше от школы, от этих парней, пока не стало ещё хуже или так безнадёжно, что уже и не исправить, думает он, вспоминая насмешливые гримасы одноклассников. Теперь постыдная история приклеится к нему, он станет позорищем, посмешищем, вся школа будет зубоскалить над ним ещё много недель. От этой мысли его снова накрывает отчаяние, конечно, они ещё на нём отыграются, улучат время, найдут место, застанут врасплох. Когда парень шептал ему на ухо, что, мол, погоди, так дешёво не отделаешься, он просто предупреждал: его

ещё взгреют, сегодняшней взбучкой дело не кончится, они довершат то, что не смогли сейчас, думает Хенри и стискивает зубы. Вот же угодил он в передрагу. А ведь всё время, с первого дня в школе, он вёл себя осторожно, всё исполнял, ни с кем не собачился, научился искусно сглаживать улыбкой любую неприятную ситуацию. Позволял большим мальчикам помыкать собой, подчинялся командам, держался в сторонке, когда они пинали мяч или боролись потехи ради, потому как знал, что заводилой ему не стать, не таковский он, и что лучше ему не привлекать к себе внимания и ни во что не ввязываться. Столько времени он продержался на этой стратегии, и вот на тебе.

А всё его слёзы, думает Хенри и сильнее сжимает руку брата, пожалуй, даже слишком сильно, и прибавляет ходу. Брат ойкает. Ничего, потерпит. Ему надо научиться вести себя иначе, не как сегодня, а то превратится в мальчика для битья, которого всегда выбирают жертвой, если ребятам надо кого-то помучить, а это скажется и на Хенри, перейдёт на него, как вонь или зараза, вот уж чего ему никак не надо, он и так ростом не вышел. Из всех ребят моего возраста я ниже всех и наверняка ещё и беднее всех, думает он и тащит за собой брата. Они быстро шагают по проселочной дороге, краем глаза Хенри замечает, что брат морщится, просит отпустить его руку, но Хенри как будто не слышит, желая проучить плаксу.

— Мне больно, Хенри Оливер, — шепчет брат.

При виде слёз, капающих у него со щёк, Хенри резко отпускает руку и бережно гладит брату пережатые пальцы.

— Прости! — говорит он. Говорит несколько раз.

Брат шмыгает носом и трёт пальцы варежкой. Они идут дальше, Хенри прикидывает, что надо

бы подбодрить мелкого, а то мама увидит его заплаканную физиономию и пристанет с расспросами, придётся всё ей рассказать, и что тогда? Мама встретится, только и всего, вот уж чего точно не нужно. Хенри просит брата снять варежку, набрать пригоршню снега, сунуть в него нос и оттереть его. Брат так и делает. Рука от холода краснеет, но сопли удаётся отмыть. Теперь и Хенри сдёргивает варежки, раскатывает между ладоней плюху снега и бережно промакивает опухшие глаза брата, приговаривая:

— Мы ведь не расскажем ничего маме с папой?

— Нет.

— У папы с мамой других дел много.

— Угу.

Они идут дальше. Хенри дорогой придумывает игру: проходится пальцами по пальто брата, от горловины до сгиба локтя, надеясь переключить его мысли на другое, развеять его мрачное настроение. Хенри засовывает пальцы брату под мышку и видит, как у того разглаживается, расслабляется лицо, страх, драка, холод и слёзы уходят, освобождая место для простой болтовни обо всём на свете, как у них принято по дороге домой. И они шагают дальше, пиная ледышки.

И вскоре доходят до своего дома, стоящего напротив кладбища. Деревянный двухэтажный дом зелёного цвета, на первом этаже отцовская мастерская, на втором — их квартира.

В кухонном окне мелькает мама, скорее всего, тропится начистить картошки, или бельё прополоскать, или овощи нарезать, и Хенри видит по лицу брата, как хорошее настроение снова улетучивается, а школьные неприятности оживают.

— Всё хорошо, — говорит Хенри, кладёт руку брату на плечо и гладит его по спине, — идём.

В квартире пахнет картошкой, в прихожей завалы обуви.

— Привет! — кричит Хенри, стараясь, чтобы голос звучал как обычно и не вызвал подозрений. Из кухни выходит мама с бисеринками пота на лбу и пятнами муки на фартуке. За её юбку цепляется их младшая сестра, тянется на цыпочки, чтобы взяли на ручки.

— Как было в школе? Ну что, ходить с сухими ногами совсем другое дело, да? — спрашивает мама; видимо, её слова подстегивают отца: в комнате скрипит пружинами старый стул, и отец появляется в дверях. Он держит в руках залатанные зимние башмаки брата, показывая всем и каждому, что теперь они не текут.

— Спасибо, папа, — говорит брат и забирает у отца башмаки.

— А... кто-нибудь заметил? — весело спрашивает папа и подмигивает в сторону полусапожек, но тут сестрёнка хватается за кухонную скатерть и чуть не виснет на ней, тарелки и стаканы того гляди полетят на пол, мама бросается их спасать и, на радость Хенри, не успевает заметить ни изменившегося голоса брата, ни пристыженного выражения его лица, когда он смущённо мямлит в ответ:

— Нет, папа.

Б как Большой кирпичный двухэтажный дом, охватывающий квадратный двор, и разбросанные вокруг бараки; вместе они составляют лагерь Фалстад. Ещё там есть маленькие сторожки для охранников, сарай для свиней и коров, уличные сортиры и столярные мастерские, а дальше уже колючка, она опоясывает всё.

Б как Берёза в тюремном дворе, ты проходишь мимо неё, когда вас ведут на работы, у неё

грязно-белый ствол и золотистые листья, ты заказал на пробу отрез такого цвета в свой магазин в Тронхейме.

Б как Бережно вклеенный в гербарий папоротник семейства чистоусовых, немедленно вписанный в каталог безупречно изящным почерком Ральфа Тамбса Люке, владевшего виллой на Юнсвансвейен, 46 задолго до её превращения в штаб-квартиру банды Риннана.

Б как Багаж и упаковка вещей, поскольку предстоит переезд в другой дом. И ещё Берёзовые листочки, они проклёвываются из разбухших почек в тот весенний день 1948 года, когда багаж запихивают в машину в городе Осло. Выше крыш сияет солнце, капель искрится и брызжет в разные стороны. Гершон нервно тянется к ручке, чтобы закрыть багажник, его движения излишне суетливы, хотя ничего особенного не происходит, им всего-навсего надо к ночи доехать до Тронхейма. Яннике садится на корточки, поднимает с земли камешек и собирается засунуть его в рот, но Эллен вовремя подхватывает её на руки и вынимает камень из тут же сжавшегося кулачка, хотя Яннике протестует и пытается вывернуться. Потом она начинает рыдать и вопить: «Мой! Мой! Мой!», и Эллен упихивает её в детское кресло на заднем сиденье, а Гершон садится за руль.

Мебель вынесли из квартиры ещё утром, она уже уехала на грузовике. Решение о переезде было принято несколько месяцев назад. Началось всё с намёков, мать Гершона умудрялась в каждый свой телефонный разговор с ним непременно вставить реплику, что ей очень нужна помощь в магазине.

Трудно, дескать, управляться одной. Потом Мария навестила их в Осло. Приехала на поезде. Гершон ждал на перроне и смотрел, как мать спускается по лесенке в сапогах на высоких каблуках и такой широченной шляпе, что её поля проскользили по стенам тамбура, когда мать выходила. Она помахала рукой и сделала шаг в сторону, пропуская какого-то не знакомого Гершону мужчину с её чемоданом. С матерью иначе не бывает, она всегда так безупречно элегантно одевается, что даже предположение, будто она сама станет тягать свои чемоданы, кажется противоестественным, и Гершон, не двигаясь с места, наблюдал, как она в награду чмокнула мужчину в щёку и повела рукой, отсылая его. Затем, по-прежнему не думая сама озаботиться чемоданом, мать призывно кивнула Гершону, и пришлось ему подойти и взять его. Я бы всё равно предложил нести чемодан, подумал он, но что-то раздражало его в самой манере матери, в том, что она считает помощь себе чем-то очевидным. Однако он пресёк мысль в зародыше и улыбнулся. На вопросы Гершон отвечал коротко, как мать и рассчитывала, потому что, хоть она и спросила из вежливости, как у них дела, углубляться в подробности сверх простого «хорошо» ей явно не хотелось. Она вовсе не собиралась выслушивать, как трудно найти работу, какие разительные перемены произошли с дочкой Герсона, Яникке, или что война сломала его будущее, как раз когда он дорос до того, чтобы обустраивать взрослую жизнь. Мать всегда была занята собой, своими делами, думает Гершон и вспоминает, как смеялась Эллен, когда он впервые рассказал ей про их с братом летние каникулы. В детстве их с Якобом, а лет им было не больше десяти-двенадцати, селили одних

в пансионате на несколько недель, поскольку родители никак не могли бросить магазин.

Едва переступив порог их квартиры, Мария стала причитать, как тесно Эллен с Гершоном живут, до чего же крохотная у них квартирка. Гершон видел, что Эллен очень расстроилась, улыбка застыла у неё на лице, наверняка Эллен и сама о том же частенько думает, как ни крути, она дочь фабриканта, привыкла жить широко.

— Мы собираемся переезжать, мама, — сказал Гершон, принимая у матери пальто. — Купили в Холмене таунхаус с участком, как только его достроят, сразу переедем.

— Об этом я и хотела поговорить, — ответила Мария, переходя в столовую. — Я нашла вам дом. В Тронхейме, почти в самом центре. Вилла с садом и нормальным туалетом, а не вынесенным, как у вас. Собственный дом, Гершон, и работа для тебя в «Париж-Вене».

Мать повернулась к Эллен — та держала на коленях Яннике — и принялась рассказывать ей о магазине, расписывать платья и ткани, шляпки и пальто, Эллен, конечно, сможет брать всё, что захочет.

Историю дома Мария не упомянула. Лишь несколько недель спустя она позвонила Гершону и под занавес разговора, когда уже пора было класть трубку, сообщила — как нечто будничное, обычнее не бывает, — что в войну в доме пару лет обитала банда Риннана.

Гершон повернулся спиной к гостининой и закрыл глаза.

— Алло? Ты здесь?

— Мама, но... Почему ты не сказала об этом раньше?

— Я таки боялась Эллен, она бы раздула это дело до небес, ой-ой, всё так серьёзно... — сказала Мария на идише.

— Послушай... Тебе не кажется, что нам следовало об этом знать? — тоже на идише сказал Гершон, прислушиваясь, как Эллен с Яннике болтают в комнате.

— Не знать, а узнать, — поправила его мать. — Но что бы поменялось, Гершон? Война закончилась, Риннан со своими парнями убрался оттуда давным-давно. Красивый частный дом с садом в очень хорошем районе. Послушай, это единственная возможность вам устроиться действительно прилично, а мне заполучить тебя, ты нужен мне в Тронхейме.

Гершон молчал, и Мария снова перешла на норвежский.

— То есть мне надо было сказать нет? Сказать, что сын не хочет переезжать назад в Тронхейм и отказывается от дома, потому что они с женой боятся привидений?

— Нет, мама, — ответил Гершон. Эллен с Яннике на руках шла из гостиной.

Он ничего ей не сказал. И потом всякий раз, как он собирался поведать ей историю дома, что-то ему мешало. Да плюс ещё и другая причина была — желание повернуть историю вспять, взять реванш. Тем временем наступила весна, и вот — они переезжают, уже усаживаются в машину.

Гершон поворачивает ключ в замке зажигания, машина трогается с места, в дороге двухлетняя Яннике постепенно забывает, из-за чего сердилась. Тревога отпускает, они потихоньку болтают о пустяках, как принято в поездках. Разглядывают дома, поля. А то и трактор вдруг проедет с копной сена. Яннике водит пальчиками по стеклу и прижимает

к нему свой язычок. Гершон улыбается, подсматривая за ней в зеркало. Пытается представить, как они будут жить в Тронхейме, а он — работать в магазине «Париж-Вена». Глубоко вздыхает, и Эллиен накрывает ладонью его руку на руле. Он тут же поворачивается к ней, улыбается, жмёт на газ и кладёт руку ей на бедро, чувствуя под платьем её кожу, такую горячую, и мысленным взором наблюдая за счастливым семейством в саду нового дома. Всё обязательно будет хорошо.

Б как Баритон одного заключённого в Фалстаде, охранники заставляют его петь: иногда в разгар работы вдруг велют ему попеть для них. Прекращается визг пил, замолкают стук молотков в мастерской и бесконечное шарканье ног и рук. От его пения что-то пробуждается в каждом арестанте. Голос у баритона красивый, чистый, он поёт, закинув голову, как будто песней жалуется небесам. Его фразировка как-то смягчает происходящее. Боль в мышцах, постоянное жжение от мелких порезов и мозолей на считанные минуты исчезают. Лица охранников разглаживаются, расслабляются, но потом кто-нибудь из них приказывает отставить пение и всем вернуться к работе. Именно в такие минуты ты думаешь, могут ли эти молодчики быть теми мальчишками, которых ты встречал лет десять назад на улицах немецких городов. Им было лет по десять-двенадцать — тощие, мосластые, руки-ноги болтаются... Мальчишки носились по тротуарам с горящими от любопытства и радости глазами. Может, когда этот охранник был мальчишкой, ты улыбнулся ему в парке или даже поболтал с ним? Не то теперь. Война упаковала их в другую форму.

Б как Бар-мицва, и свиток Торы, и скамьи в синагоге Тронхейма, которые ты в своё время помогал туда заносить. На этих скамьях сидели твои дети, болтали ногами, прислушиваясь к заунывному голосу читающего и проникаясь благоговейной атмосферой.

Б как Бочки и Барная стойка на фотографиях Бандовой обители, сделанных сразу после окончания войны. Время послеобеденное, я сижу работаю в своём кабинете в Осло, разыскиваю в интернете архивные свидетельства. На первом снимке общий план виллы, вид сзади. Дом с арочным окном на втором этаже и распашными ставнями на окнах первого этажа. Колючая проволока по периметру усадьбы уже убрана, как и охранники, прежде нёсшие там вахту. На втором снимке одна из комнат, где жили риннановцы: ящики комода, одежда и мусор валяются на полу вперемишку с разодранным в клочья ковром. На третьем фото свет льётся в подвальное окно, на барную стойку, заставленную бутылками. Перед баром стоят две большие бочки, они держат зажатый между ними толстый железный столб. Он лопнул посерединке, вероятно, не выдержав тяжести всех, кого заставляли сесть на корточки со связанными руками, а потом вздёргивали на столб, и члены банды, сменяя друг друга, секли их кнутом, избивали или выжигали на теле метки. На экране передо мной возникает задняя часть обнажённого мужского бедра в чёрно-белом изображении, под одной из ягодиц выжжена свастика. Я слышу шаги за спиной, видимо, я так глубоко погрузился в разглядывание экрана, что не услышал, как вошла дочка, но теперь она стоит прямо за моим креслом. Я поспешно сворачиваю фото, но тем самым открываю следующий снимок, на нём — три разных хлыста.

— Папа, что это? — спрашивает дочь раньше, чем я успеваю выйти из вкладки.

— Я просто читал о войне, — отвечаю я и трюсь щекой о её щёку. Подхватываю на руки маленькое тёплое тельце и уношу её прочь от компьютера.

Б как Бетон в подвале Бандовой обители и как Буря кровь, она капает с топора в руках одного из членов банды. Последние дни апреля 1945 года, Риннан, спустившись в подвал, смотрит на ящик, тот стоит в центре помещения, и кровь неспешно стекает из него в слив в полу. Риннан одобрительно кивает запыхавшемуся помощнику, тот прижимает к ноге руку с топором.



[Почитать описание, рецензии
и купить на сайте](#)

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

